

Ю.КАРЯКИН

ДОСТОЕВСКИЙ
И КАНУН XXI ВЕКА

МОСКВА
СОВЕТСКИЙ ПИСАТЕЛЬ
1989

кто знает, не явились ли слова эти еще и ответом на ее «проклятую мечту»?

Но и сам Достоевский, наверное, не понял бы все это столь определенно и глубоко, не выразил бы столь убежденно и убедительно, если бы и в нем самом не бушевали страсти подобные (хотя далеко-далеко не тождественные) этим, если бы не умел он одолевать и свой раскол, свой самообман.

16.IV.1864. «МАША ЛЕЖИТ НА СТОЛЕ...»

«Возлюбить человека, как самого себя, по заповеди Христовой,— невозможно! Закон личности на Земле связывает. Я препятствует.

Вспомним, как в «Зимних заметках о летних впечатлениях» (1863), размышляя о «сильно развитой личности», которая «по закону природы» должна отдать всю себя всем, Достоевский писал: «... я приношу и жертву всем себя для всех; ну, вот и надобно, чтоб я жертвовал себя совсем, окончательно, без мысли о выгоде, отнюдь не думая, что вот я по жертву обществу всего себя и за это само общество отдаст мне всего себя. Надо жертвовать именно так, чтобы отдавать все и даже желать, чтоб тебе ничего не было выдано за это обратно, чтоб на тебя никто ни в чем не избыточился. Как же это сделать? Ведь это все равно что не вспоминать о белом медведе. Попробуйте задать себе задачу: не вспоминать о белом медведе, увидите, что он, проклятый, будет поминутно припоминаться...»

Но никогда, кажется, «проклятый белый медведь» не припоминался самому Достоевскому так мучительно, как в это время, непосредственно предшествующее созданию «Преступления и наказания».

Он едет за границу не в свободный вояж, не за «материалом». Он едет лечиться. Он — бежит туда, спасаясь от кредиторов. А еще — чтобы быть вместе с Аполлинарией Сусловой, не таиться наконец от посторонних. Жена, умирающая в чахотке, остается в России. Разводиться с ней он не хочет. Суслова настаивает на этом. Он — наотрез отказывается: «Она же умирает...»

За границей — игра, проигрыш, сдача последних вещей в ломбард, займы денег — для игры же. И опять проигрыши, опять займы. И — унильные отказы. Один — от Герцена. Достоевский уязвлен: «Он не мог сомневаться, что я не отдаю: письмо-то мое у него. Не потерянный же я человек!». Остается (в какой уже раз) только Суслова: «Поля, друг мой, выручи

меня, спаси меня! Достань где-нибудь 150 гульденов... я тебе отдаю их. Не захочу же я тебя поставить в скверное положение. БЫТЬ ТОГО НЕ МОЖЕТ...»¹

Он оправдывается перед братом: «Ты пишешь, как можно играть дотла, путешествуя с тем, кого любишь (...) А мне надо деньги. Для меня, для тебя, для жены, для написания романа. Тут шутя выигрывают десятки тысяч. Да я ехал с тем, чтобы всех нас спасти, от беды выгородить» (28, кн. II; 45).

Страсть игрока, надежда «всех спасти», вина перед женой, страх потерять молодую Суслову, а еще — искусство, главное — искусство. Он предчувствует в себе такие творческие силы, о которых никто на свете, кроме него, пока и не подозревает. И, может быть, по одной только силе этого предчувствия он и берет себе право всем рисковать.

«Чужая беда не дает ума» — Достоевский не раз повторял эту пословицу. Она относится и к нему самому. Самое гениальное воображение не может кое в чем — и весьма существенном — заменить собственный опыт.

Случилось в то время еще одно «сильное впечатление» (после возвращения в Россию). 15 апреля 1864 года в Москве умирает жена Достоевского — Мария Дмитриевна. И он делает в этот момент такое исповедальное признание, откровенное которого даже у него трудно, да, пожалуй, и невозможно найти:

«16 апреля. Маша лежит на столе. Увижу ли с Машей?

Возлюбить человека, как самого себя, по заповеди Христовой,— невозможно. Закон личности на Земле связывает. Я препятствует. (...) Между тем после явления Христа, как идеала человека во плоти, стало ясно как день, что (...) высочайшее употребление, которое может сделать человек из своей личности, из полноты развития своего я, — это как бы уничтожить это я, отдать его целиком всем и каждому безраздельно и беззаветно. И это величайшее счастье. Таким образом, закон я сливаются с законом гуманизма. (...)

Итак, человек стремится на земле к идеалу, — противу положному его натуре. ^{Не приносил доводы в жертву своего я людям} Когда человек не исполнил закона стремления к идеалу, — и называл это состояние грехом. Итак, человек беспрерывно должен чувствовать страдание, которое уравновешивается райским ^{и в жизни и в смерти} и наяву ^{и наяву} земной ^{и наяву} была бы жертвой. Тут бессмысленное (20; 172, 175).

Опять перед нами — невыдуманный сюжет из жизни Достоевского, ничуть не уступающий сюжетам, «выдуманным» в его книгах:

¹ Суслова А. П. Годы близости с Достоевским. М., 1928. С. 162.

Суслова А. П. Годы близости с Достоевским. М., 1928. С. 166.

ночью) — узнает и пишет такое о себе и — через себя — людях.

Не поможет ли этот собственный опыт «уничтожить неопределенность» в мотивах преступления Раскольникова, который так дорого заплатил за право сказать матери: «Сын ваш любит вас теперь больше себя»? Не отсюда ли еще — глубоко скрытый, но сильнейший исповедальный дух романа? Достоевский и для себя решал «предвечные» вопросы, и свое «я» преодолевал. Он и в себе открыл борьбу противоположных мотивов, законов, целей. Он имел мужество признаться себе в этом, признаться — в один из самых страшных моментов своей жизни. Прежде всего он «уничтожил неопределенность» в своем самосознании. Он и себя был «убаюкивать не мастер, хотя иногда брался за это». И без такого самосознания, стремящегося к полной правде, без такого осознанного вытравливания самообмана, без таких беспощадных признаний не смог бы он создать ни Раскольникова, ни Ивана Карамазова, не смог бы столь глубоко, изнутри, понять их характеры, их раскол.

«Маша лежит на столе...» Тут уж никакого самообмана.

И вот еще одно признание в письме Достоевского своей корреспондентке — 11 апреля 1880 года: «Что вы пишете о Вашей двойственности? Но это самая обыкновенная черта у людей... не совсем, впрочем, обыкновенных. Черта, свойственная человеческой природе вообще, но далеко-далеко не во всякой природе человеческой встречающаяся в такой силе, как у Вас. Вот и потому Вы мне родная, потому что это *раздвоение* в Вас точь-в-точь как и во мне, и всю жизнь во мне было. Это большая мука, но в то же время и большое наслаждение. Это — сильное сознание, потребность самоотчета и присутствия в природе Вашей потребности нравственного долга к самому себе и к человечеству. Вот что значит эта двойственность. Были бы Вы не столь развиты умом, были бы ограниченнее, то были бы и менее совестливы и не было бы этой двойственности. Напротив, родилось бы великое-великое самоизменение. Но все-таки эта двойственность большая мука» (30, кн. I; 149).

Свою двойственность Достоевский одолевал творчеством, главным образом творчеством. Когда он писал, когда творил, он и себя «выделявал». В том же письме читаем: «Вы пишете о себе, о душевном настроении Вашем в настоящую минуту. Я знаю, что Вы художник, занимаетесь живописью. Позвольте Вам дать совет от сердца: не покидайте искусства и даже еще более предайтесь ему, чем доселе. Я знаю, я слышал (простите меня), что Вы не очень счастливы. Живя в уединении и расстрavляя душу свою воспоминаниями, Вы можете сделать свою жизнь слишком мрачною. Одно убежище, одно лекарство: искусство и творчество» (30, кн. I; 148).

С января 1866 года в «Русском вестнике» печатается «Преступление и наказание». «Вся моя будущность,— пишет Достоевский,— в том, чтобы кончить его хорошо» (28, кн. II; 156).

Между тем надвигается гроза. Еще в июне 1865 года Достоевский продал издателю-спекулянту Стелловскому право издания всех своих сочинений, обязуясь к 1 ноября 1866 года написать новый роман; в случае невыполнения обязательства все его произведения, включая будущие, должны были стать монопольной собственностью Стелловского. Достоевский отказывается от предложения друзей — писать отдельные главы за него, по составленному им плану. Такого он себе позволить не мог. И вот принимается решение отчаянное — диктовать новый роман («Игрок») «стенографке» — Анне Григорьевне Сниткиной.

За двадцать шесть дней октября он пишет *десять* листов. Схватка со Стелловским выиграна, выиграна неимоверным трудом.

Достоевский создает в «Игроке» картину «своего рода ада», обнажает страсти, рожденные все той же самоослепляющей погоней за «капиталом сразу», рожденные «самоотравлением собственной фантазией».

«Игрок» еще и болезненно автобиографичен. Это — внутренний расчет с любовью к Сусловой. Это — и попытка выбраться из своего собственного «ада», одолеть пагубную самообманную страсть к игре.

В ноябре — декабре завершается последняя часть «Преступления и наказания». За год написано *сорок* листов (и *каких*). А все это время он тяжело болел и ждал ежедневно очередного припадка как визита или письма кредитора. Он имел незавидное право сказать (в июне 1866 года): «Я убежден, что ни единий из литераторов наших, бывших и живущих, не писал под такими условиями, под которыми я *постоянно* пишу. Тургенев умер бы от одной мысли» (28, кн. II; 160).

Самые «мелкие» и «бытовые» вопросы перепутались, завязались для Достоевского в один узел с вопросами «предвечными», самые интимные — с самыми эпохальными. После страшного проигрыша в Висбадене, в начале августа 1865 года, в полном одиночестве, без гроша, он, по собственному признанию, и «выдумал Преступление и наказание и подумал завязать сношения с Катковым» (28, кн. II; 290). Вряд ли именно это и было единственным «сильным впечатлением», из которого родился роман. Вряд ли это даже и вообще входило в число таких впечатлений. Но само это отчаянное положение, острое осознание потерянного и теряемого времени своего и дара, чувство вины перед собой и людьми — все это и стало, вероятно, последним потрясением, которое сконцентрировало вдруг *всем* ранее в порыв самоспасения, в могучий порыв творчества.

чества, в окончательное решение немедля писать роман, в котором для него и сошлось все. Все свелось к роману — сдаться или победить. И он — побеждает. Побеждает себя, кредиторов (пока — далеко не всех), побеждает судьбу. Мало кто мог бы с таким правом повторить слова Бетховена: «Я возьму судьбу за глотку». Достоевский — взял.

И всегда-то он все свои грехи искупал главным образом творчеством, а в этот момент — особенно: «Трудно было быть более в гибели, но работа меня вынесла» (28, кн. II; 235).

«Преступление и наказание» — органический художественный сплав мучительных и мужественных размышлений и о себе, и о своем народе, и о судьбах человечества.

Победа его как художника и стала восстановлением его как человека.

Победа Достоевского над самим собой как человека и оказалась великой победой его как художника.

«Чтоб хорошо писать, страдать надо, *страдать!*»¹ — говорил Достоевский. Он имел все основания добавить: и преодолевать страдания. Он и сделал такое добавление — каждым своим произведением.

С «Преступлением и наказанием» (и с «Игроком») связан еще неожиданный, крутой и счастливый поворот в его личной жизни. Как награда.

8 ноября 1866 года, крайне взволнованный, он говорит А. Г. Сниткиной: «Представьте... что я признался вам в любви и просил быть моей женой. Скажите, что бы вы мне ответили?..» Анна Григорьевна вспоминает: «Я взглянула на столь дорогое мне, взволнованное лицо Федора Михайловича и сказала: «Я бы вам ответила, что вас люблю и буду любить всю жизнь».

А вскоре он напишет (может быть, продиктует своей «стенографке») строчки о любви Раскольникова и Сони из Эпилога: «Их воскресила любовь. Сердце одного заключало бесконечные источники жизни для сердца другого».

И когда мы читаем эти строчки, не забудем, в какой момент они родились, кто был их первой читательницей и что они значили для него.

Много лет спустя после смерти Достоевского композитор С. Прокофьев попросил А. Г. Достоевскую написать что-либо в его альбом, сказав при этом: «Должен предупредить вас, Анна Григорьевна, что альбом этот посвящен исключительно солнцу. Здесь можно писать только о солнце». Вот что она написала: «Солнце моей жизни — Федор Достоевский. Анна Достоевская. 6 января 1917 г.»².

1 Мережковский Д. Автобиографическая заметка. — Русская литература XX века. Под ред. С. А. Венгерова. Т. I. С. 291.

2 Достоевская А. Т. Воспоминания. М., 1971. С. 16.⁷⁹ А. Г. Достоевская родилась в 1846 году, умерла 9 июня 1918 года в Ялте.

22.XII.1849. «ЕЩЕ РАЗ ЖИВУ!»

«Несмотря на все утраты, я люблю жизнь горячо, люблю жизнь для жизни и, сердечно все еще собираюсь начать мою жизнь...»

Вот еще одно «сильное впечатление» (может быть, самое сильное), которого ему хватило на всю жизнь: 22 декабря 1849 года его, вместе с другими петрашевцами, должны были расстрелять. В тот зимний день, вечером, он писал брату:

«Никогда еще таких обильных и здоровых запасов духовной жизни не кипело во мне, как теперь. Ведь был же я сегодня у смерти, три четверти часа прожил с этой мыслию, был у последнего мгновения и теперь еще раз живу! Если кто обо мне дурно помнит, и если с кем я поссорился, если в ком-нибудь произвел неприятное впечатление — скажи им, чтобы забыли об этом, если тебе удастся их встретить. Нет желчи и злобы в душе моей, хотелось бы так любить и обнять хоть кого-нибудь из прежних в это мгновение. Это отрада, я испытал ее сегодня, прощаясь с моими милыми перед смертию. Как оглянусь на прошедшее да подумаю, сколько даром потрачено времени, сколько его пропало в заблуждениях, в ошибках, в праздности, в неуменье жить; как не дорожил я им, сколько раз я грешил против сердца моего и духа, — так кровью обливается сердце мое. Жизнь — дар, жизнь — счастье, каждая минута могла быть веком счастья. Брат! Клянусь тебе, что я не потеряю надежду и сохранию дух мой и сердце в чистоте. Теперь уже лишения мне нипочем, и потому не пугайся, что меня убьет какая-нибудь материальная тягость. Этого быть не может! Ах! Кабы здоровье!..» (28, кн. I; 163—164).

И хотя даже после всего этого Достоевский еще не раз «грешил против сердца своего и духа», не раз нарушал клятву, но именно это мощное ощущение жизни как дара, как счастья — всякий раз спасало его и превращало минуты его творчества в века. Оно спасло его и во время работы над «Преступлением и наказанием».

После всех переживаний, связанных с А. Сусловой, с игрой, со смертью жены, его настигают еще два удара: смерть брата, Михаила Михайловича Достоевского, и смерть друга, Аполлона Григорьева.

31 марта 1865 года он пишет А. Е. Врангелью: «И вот я остался вдруг один, и стало мне просто страшно. Вся жизнь передломилась разом надвое. Буквально — мне не для чего оставалось. Стало вокруг меня все холодно и пустынно. (...) А между тем все мне кажется, что я только что собираюсь жить. Смешно, не правда ли? Кошечья живучесть» (28, кн. II; 116—117, 120).

А прибавьте сюда то ежедневное ожидание очередного

припадка его страшной болезни, которая каждый раз была новой смертью и новым воскрешением, каждый раз — казнью и помилованием.

Вот какой кровью и вот с какой надеждой писалось «Преступление и наказание», писались и такие строчки в Раскольникове из Эпилога: «Неужели такая сила в этом желании жить и так трудно одолеть его?.. Он смотрел на каторжных товарищев своих и удивлялся: как тоже все они любили жизнь, как они дорожили ею!.. Неужели уж столько может для них значить один какой-нибудь луч солнца, дремучий лес, где-нибудь в неведомой глухи холодный ключ, отмеченный еще с третьего года, и о свидании с которым бродяга мечтает, как о свидании с любовницей, видит его во сне, зеленую травку кругом его, поющую птичку в кусте?..»

Достоевский пишет: «Он с мучением задавал себе этот вопрос и не мог понять, что уж и тогда, когда стоял над рекой, может быть, предчувствовал в себе и в убеждениях своих глубокую ложь. Он не понимал, что это предчувствие могло быть предвестником будущего перелома в жизни его, будущего воскресения его, будущего нового взгляда на жизнь».

Раскольников — не понимал еще. Иван Карамазов — понимает: «Клейкие весенние листочки, голубое небо люблю я, вот что! Тут не ум, не логика, тут нутром, тут чревом любишь, первые свои молодые силы любишь... Понимаешь ты что-нибудь в моей ахинее, Алешка, аль нет? — засмеялся вдруг Иван.

— Слишком понимаю, Иван: нутром и чревом хочется любить — прекрасно ты это сказал, и рад я ужасно за то, что тебе так жить хочется, — воскликнул Алеша. — Я думаю, что все должны прежде всего на свете жизнь полюбить.

— Жизнь полюбить больше, чем смысл ее?

— Непременно так, полюбить прежде логики, как ты говоришь, непременно чтобы прежде логики, и тогда только я и смысл пойму. Вот что мне давно уже мерещится. Половина твоего дела сделана, Иван, приобретена: ты жить любишь. Теперь надо постараться тебе о второй твоей половине, и ты спасен...»

Ясно, что это — убеждение и самого Достоевского. Герой и автор здесь — слиты.

И все-таки есть такое живое у Достоевского, что живее даже и этого. Все-таки когда читаешь просто человеческие, не «художественные» строчки,

«Маша лежит на столе. Увижу ли с Машей?..»

«Нет желчи и злобы в душе моей, хотелось бы так любить... Жизнь — дар, жизнь — счастье, каждая минута могла быть веком счастья... Ах! Кабы здоровье!..» —

— когда читаешь это, то вдруг, до абсолютной самоочевидности, становится ясно самое простое: ни один из его героев,

— и все вместе не могли ~~одинаково~~^{могучим} перенести. Каждый из них был
таким сострадающим и таким же макакским, реальный, этот живой и очень больной человек. И еще само-
очевиднее становится: все их жизнелюбие, все их сострада-
ние — от него.

щадным ножом-резцом — по живому! — «обводил» ту «картику», которая и без того навсегда была вырезана на его душе и без того кровоточила постоянно. Помимо всего прочего, это был просто невероятно мужественный человек. И не патологическая страсть двигала им, когда он смотрел, «не отвертываясь», и на смерть других. Не подсознанию он подчинялся, не инстинктом двигался — убеждением, ясным разумом и совестью, подсознанием, если угодно. Силы сопротивления смерти он искал. А потому и отвоевал (но какой страшной ценой) право отвечать тем своим критикам, которые обзывали его произведения «болезненными»: «Но самое здоровье ваше есть уже болезнь». Отвоевал право сказать им: «Да моя болезнь здоровее вашего здоровья...» (24; 68, 133).

Страну знобит, а омский каторжанин
Все понял и на всем поставил крест.
Вот он сейчас перемешает все
И сам над первозданным беспорядком
Как некий дух взнесется. Полночь бьет.
Поро скрипит, и многие страницы
Семеновским припахивают плацем...

Анна Ахматова

Встреча вторая. «16 апреля. Маша лежит на столе. Увижуясь ли с Машей?

Возлюбить человека, как *самого себя*, по заповеди Христовой,— невозможно. Закон личности на Земле связывает. Я препятствует. (...) Между тем (...) высочайшее употребление, которое может сделать человек из своей личности, из полноты развития своего я,— это как бы уничтожить это я, отдать его целиком всем и каждому безраздельно и беззаботно. И это величайшее счастье. Таким образом, закон я сливаются с законом гуманизма. (...)

Итак, человек стремится на земле к идеалу,— *противуположному* его натуре. Когда человек не исполнил закона стремления к идеалу, т. е. не приносил любовью в жертву своего я людям или другому существу (я и Маша), он чувствует страдание и назвал это состояние грехом. Итак, человек беспрерывно должен чувствовать страдание, которое уравновешивается райским наслаждением исполнения Закона, т. е. жертвой. *Тут-то* и равновесие земное. Иначе земля была бы бессмысленна» (20; 172; 175).

Это и была встреча со своей нравственной смертью (нечто подобное случалось и прежде — в письме от 22 декабря 1849-го есть об этом, и позже, но в такой степени — никогда). И она оказалась ничуть не легче той, первой. И он опять не смог. Но тут уж никто помиловать не мог. Никто не мог помочь, кроме самого себя. И он к себе беспощаден, а потому только и находит силы воскреснуть.

... уничтожает прекраснодушный самообман: будто «само собой разумеется», что всякий человек уж *изначально* и *неуклонно* любит «близких», оказывается полюбить на деле — труднее всего. И опять-таки: он переживает эту встречу со своей нравственной смертью как встречу с нею и других людей, всего человечества (Опять: чем конкретнее, чем глубже в себя, тем общее выходит.) И опять разом постигает такое, что иным путем постигнуть, Наверное, и невозможно. И не отсюда ли тоже — многие его прозрения?

Из всех страданий самое глубокое для него — страдание невозможности полюбить другого «как *самого себя*». Но страдание это есть лишь возмездие именно за безраздельную любовь к себе одному. Однако из всех радостей — наибольшая: преодолеть эту невозможность. Ад, напишет он позже, есть «страдание „, том, что нельзя уже более полюбить». Неодоление — самоубийственно и для человека, и для человечества. И многие страницы его откликаются не только Семеновским плацем, но и той ночью, когда: «Маша лежит на столе. Увижуясь ли с Машей?..» Кстати: здесь у Достоевского совершенно другой слог и почерк, чем в письме от 22 декабря 1849 года, другой голос мысли, другое выражение лица-души. Здесь почерк неровный, рваный; многое зачеркиваний. Мука видна, мука за Машу, за себя. И мука мысли — особенно.

И еще об одной встрече со смертью — на этот раз со смертью Некрасова, в декабре 1877-го. 28-го он пошел на квартиру Некрасова, постоял у его гроба. Некрасов (вместе с Белинским) подарил ему «самую восхитительную минуту» его жизни — приветствием «Бедных людей». И с ним же он так много, жестоко, неправедноссорился («желчь и злоба»).

«Воротясь домой, я не мог уже сесть за работу; взял все три тома Некрасова и стал читать с первой страницы. Я просил... Дел всю ночь до шести часов утра, и все эти тридцать лет как будто я прожил снова. (...) и буквально в первый раз дал себе отчет: как много Некрасов, как поэт, во все эти тридцать лет, занимал места в моей жизни!» (26; 11).

Слова трагические, исповедальные, даже страшные: сказал бы он такое и так, если б Некрасов не умер? успел бы? не опоздал? А услышь это живой Некрасов? Неужели для понимания *ласкательного* братства опять нужна была смерть?.. Опять и опять подтверждается старина ядоргапистская ученеброненчию надо

ценность жизни, смысл примирения родных по духу людей.

Именно такое примирение — вот чем он дышит, вот в чем видит спасение и человека, и России, и всего человечества: «...мы... все более меня занимающая»; «где те пункты, в которых мы могли бы все, разных направлений, сойтись?»

Но еще раз подчеркну — не забудем о нем и такое (он сам

16 вопрос, Мария сестра
на кону. Убийца — на Марии?

Васильев рекомендует, тако
же из Земства Христова — не
может. Люди Закона забыты,
но Богородица забыта. И православные
святыни, чтобы массы один
Христов христ, но Христов был
всевозможным Богом
(искусством, в котором он совершен),
и из Земли привнес доброту
 совершенства человеческого. — Человек
надеется, но он надеется Христу,
кто удалась сестре на кону,
видит что Когда дела, что пагубно.
Скорее, но все пагубное из
человеческого в домашних делах
— До меня то самый холст пагубный
в самом пагубном домашнем деле,

Но собственное небывалое,
нужно? но не все. хотя он
будет, встанет святой, блажен и
прав — забыты многие всех
своих сторонников,

И мы забыли свои имена и фамилии
и имея, нужны небывалые и
новые. Когда забывает всё старое,
забывает заняться всё новым, но он
запоминает, заслуживающие всё старое
и забывшие всё старое и
заняться всё новым и заслуживающим
всё старое. И всё забывает. Но если
забыть бывает забыть забывающее,
запомнить запоминающее. И забыть
запоминающее запоминает забывающее забывшее,
запоминающее запоминает забывающее.

Зачем запоминать, запоминать запоминать,
запоминать запоминать, запоминать запоминать.